

Хетаг БИГАЕВ

ЭПИТАФИЯ ЛЮБВИ

ЭССЕ



Процесс попадания в зыбучие пески художественного слова всегда довольно утомителен, так как, помимо сюжетной глины, фабульной основы произведения, там всегда наличествует масса жидкости, перемешанной с грязью, которая, на первый взгляд, никакого отношения к выстраиванию повествования не имеет. С такими мыслями я подходил к пропасти, именуемой романом-эпопеей «Отверженные» В. Гюго, однако по завершении знакомства (первичного и поверхностного) с этим удивительным полотном позиция изменилась в корне.

Экспозиция

Франция эпохи Реставрации. Литосферные плиты миропорядка сдвигаются. Нация, преисполненная идеей собственного превосходства, богоизбранности, переходит в стадию формирования компромиссов: как социальных, так и государственных. Этот процесс внутреннего и внешнего разлада затрагивает общество, неизбежно отражаясь в каждом его элементе, но Гюго был бы условным Чернышевским или Герценом, Радищевым, в конце концов, если бы начинал писать картину такими широкими мазками.

На первых страницах романа пред нами возникает фигура картонная, как любят выражаться в литературных кругах, без каких-либо форматов развития и надломов. Епископ Диньский, монсеньор Бьенвеню — это оплот романа, тот идеал, к которому неизбежно будет возвращаться автор для оценки сообщаемых

читателю взглядов и размышлений. Если угодно, это прообраз светского Иисуса Христа, вобравший в себя концентрат ценностей европейской религиозной мысли. И столкновение главного героя романа, Жана Вальжана, озлобленного и жестокого каторжника, с этой скалой приводит к тому, что верующие люди называют разворотом на 180 градусов, покаянием, метанойей — к первому шагу навстречу свету. Как прекрасна сцена, в которой преисполненный истины ангел из Диня дарит украденные подсвечники человеку из преисподней: «Жан Вальжан, брат мой! Вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю Богу».

Важно отметить, понимание света у Гюго не ограничивается религиозной доктриной, а совмещается с просветительскими воззрениями, что ярко выражается в последующих главах романа. Все социальные катастрофы «Отверженных» рождаются во тьме: как духовной, так и интеллектуальной. Да и буквально: темнота — друг демонического (события в лачуге Горбо, ночные «похождения» маленькой Козетты, баррикада на улице Шанврери, побег Тенардые).

Параллельно автор делает набросок Фантины, юной нимфы, воплощающей в себе и радость, и чистоту, и стыдливость. Фантина — проблеск зари безмятежным весенним утром. Провинциальная девочка-сирота, перебравшаяся в Париж в поисках лучшей жизни, в поисках тепла, в поисках чувства, способного избавить ее от перманентного одиночества: «Она была невинностью, всплывшей над пучиной греха». Создав иллюзию любви, Фантина полностью отдалась и покорилась чувству, не ища опоры ни в знаниях, ни в вере, ни в обществе, предавшись назначению женщины и забыв о назначении человека. Это привело к тому, что Париж, вбирающий в себя лишь сильных мира сего, изрыгнул Фантину из пасти с анафемой, которая впоследствии ввергла кристальную душу в беспроглядную тьму. Имя этой анафеме — нищета (смотрите первоначальное название романа). «Нищета... Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные — обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог. Ибо в мелкой борьбе совершается много великих подвигов».

Жан и Фантина — зеркальные персонажи. Только вот зеркало кривое. Один карабкается, поднимаясь в гору, вторая канет в ому-

те греха и грязи; первый очищается от скверны, доверяясь Богу, а вторая оскверняет душу, доверяясь порыву страсти. Заметим, изначально они были на противоположных позициях: Фантина — свет, Жан — тьма. В подобных метаморфозах и есть авторское понимание рока, который слагается из социального неравенства и божественного предопределения, античного толкования двойственности души и тела. В подобной концепции «Отверженные» о каждом из нас.

Развитие действия и кульминация

В моем восприятии романа есть три водораздела, если так можно выразиться, три кита, на которых держится и фабула, и посыл, и художественная ценность. Первый — описание битвы при Ватерлоо и восстания 1832 года, сопоставимых по драматизму, по автономности напряжения читателя с последними мгновениями существования, когда память вбирает, словно медовые соты, каждое оставшееся дыхание; второй — две ночи, определяющие личность Жана Вальжана, последовательность его непосредственности, преданность христианским ценностям и безумие чуткой, как вдохновение, совести; третий (личный фаворит среди китов) — вытекающая из логики повествования кончина детей Тенардье, Гавроша и Эпонины.

Ватерлоо и Шанврери

В определении Википедии роман «Отверженные» характеризуют как социально-историческое полотно о жизни французского общества во всех его гранях и проявлениях. Не совсем согласен с эпитетом «французский», так как полотно это, на мой взгляд, не может быть привязано к конкретной нации, разве только формально.

Любой великий беллетрист, художник, поэт, описывая народность, ненароком захватывает человечество, потому что по природе своей француз девятнадцатого века не сильно отличается от пуэрториканца, македонца или россиянина современности. И я утверждаю это, отталкиваясь не столько от личного опыта, сколько от полифонического влияния вечнозеленых мертвецов

литературы. Битва при Ватерлоо в историческом контексте есть не что иное, как катарсис знаменитых «ста дней» Наполеона. Агония императора, ставшего узником собственных идеалов и амбиций. Кумир миллионов до и миллиардов после, оказавший колоссальное влияние на развитие философской парадигмы, культурного мировоззрения в целом, попрощался с Европой кровавым балом, танцуя со смертью под аккомпанемент выстрела, сабельного визга и слез.

Чувствуете восхищение? Так я его и не скрываю. Более того, его не скрывает и Виктор Гюго, в тексте которого безоговорочное поражение Бонапарта есть результат непостоянства фатума, этой капризной и легкомысленной дамы: «Пробил час падения необыкновенного человека. Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. <...> На императора была вознесена жалоба Небесам, и падение его было предрешиено. Он мешал Богу. Ватерлоо — это не битва. Это изменение облика всей вселенной».

Ἀνάγκη¹

А вот июньское восстание было предрешиено уже по факту своего возникновения. 1832 год ознаменовал собой борьбу прошлого с неизбежно наступавшим будущим. Бонапарт в своем падении был ничуть не меньше, если не больше Наполеона в славе. И молодость, впитывающая только лучшее с молоком матери, наполнилась прекрасными лозунгами отжившего мира. «Свобода, Равенство и Братство» — ну что, казалось бы, может быть лучше? Приоритет права над законом, едва различимая линия совести, которую и ныне многие отказываются лицеизреть. Идеалы угасшей республики в речах юноши, который родился на двадцать лет раньше или позже положенного: «Братья! Вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она воздвигнута из великих идей и великих страданий. <...> Братья! Кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари». Анжольрас. Герой Фермопил. Мальчик, ставший мужчиной в ложе неверной пассии, имя

¹ Ἀνάγκη (др.-греч.) — рок, судьба, неизбежность.

которой Родина. (N. В. Когда будете читать, пожалуйста, обратите внимание на описание батальных сцен и проведите непреходящую линию к роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир».)

Гефсимания

Каждый из нас переживал (или переживет) определяющую ночь собственной жизни. Ночь, в которой ты узнавал путь, по которому предстоит идти, изучал тропинки, порою извилистые и заросшие, возникшие в саду собственной души. Ночь бескомпромиссной откровенности разума и невозможности лжи, ибо, как завещал Федор Михайлович, «лгущий самому себе и собственную ложь слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а, стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим».

Именно такую беспросветную тьму пришлось преодолевать Жану Вальжану. И не единожды. В первый раз он сделал это ради совершенно незнакомого человека, попросившись с богатством, уважением и властью, которой, признаюсь, он не особо и дорожил; а во второй — отказавшись от той, что была для него ближе и любимее всех; в обоих случаях поставив счастье ближнего несравненно выше собственных спокойствия и благодати. Если вы думаете, что это было просто, то представьте, что, вернувшись из ада, познав истину и вкусив плоды любви и радости, вы сызнова добровольно спускаетесь в царство мрака и печали, где черти будут лить кровь и истязать ваш дух вечно: «Он оставался до утра в том же положении, уронив голову на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, — увы, раздавленный, быть может! — судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не поднимая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, пока его мысль то змеей влачила по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это застывшее тело, можно было принять его за мертвого: по временам он судорожно вздрагивал и, припав к платицам Козетты, начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив. Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было? Тот, кто не дремлет во мраке».

Думаю, не стоит проводить параллель с текстом Священного Писания, аллюзии очевидны: мистическое значение цифры двенадцать, внутренняя борьба, олицетворяющая проблематику мироздания со времен Эдема, упоминание змея как порождения низости, абсолютное одиночество Жана и невозможность избавиться от той ноши, от рока, который ему предписан.

Гаврош и Эпони́на

В конце «золотого века» литературы возникло понятие натуралистического романа, основоположником которого считается соотечественник автора «Отверженных» Э. Золя. В основе его концепции лежала невозможность человека выбраться за пределы среды обитания, наследственности, физиологии, то есть любой писатель тут превращался в исследователя, который имел больше общего с врачом, нежели с художником. Так называемые экспериментальные романы оказали огромное влияние на декадентов и модернистов, в том числе стали частью философии А. П. Чехова. Однако уязвимость оных воззрений, на мой взгляд, упирается в персонажей, подобных Гаврошу и Эпони́не: живых, стремительных, не поддающихся контролю и анализу не то что читателей, но и самого создателя произведения.

Их существование (именно существование, так как жизнью это бытие назвать чрезвычайно сложно), полное горя и мятарств, полностью оправдано смертью, преисполненной величия героев античности. Эти воины нищеты, поднявшие забрало нежности и с любовью взирающие на ближнего, с видимой легкостью переносили все удары социальной катастрофы, постигшей невежественное, порочное поколение отверженных, павших на дно граждан, включая собственного отца — господина Тенардье.

Но когда Эпони́на, истекая кровью и собирая крупички истлевших сил, пытается улыбнуться, заботясь о человеке, которого любит, когда Гаврош, маленький мальчик с большим сердцем, поет песни под свист вонзающихся в него пуль, я понимаю, нет, я верю, что человек по природе своей есть добро и свет.

Эпилог

Ну что ж, пора прощаться! Au revoir! Salut! Adieu!

Я уверен, что спустя годы вернусь к «Отверженным» (вернее, они настигнут меня), столько еще хочется рассказать, написать, передать: счастье Жильнормана, клоаку, в которой оказались Мариус и Жан Вальжан, диалог Понмерси-старшего и Мабефа, красоту отчаяния Жавера, изысканность и своеобразие аргю. Но все это после.

Сейчас я закрываю книгу, осознавая, что Слово только открывается в моей душе, преобразуя ее в нечто иное. Последняя просьба моя и каторжника — не указывать имен на надгробии. Потому что они, в сущности, не имеют значения. Весь наш путь есть только эпитафия любви.

*Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним,
Он жил. Но, ангелом покинутый своим,
Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед,
Как наступает ночь, едва лишь день уйдет.*

